

Дневник Ивана Гусева из лагеря для военнопленных ШТАЛАГ IX А ЦИГЕНХАЙН

Дневники из концентрационных и трудовых лагерей времён Второй мировой войны — это редкие свидетельства. Имущество узников жёстко контролировалось. В лагерях отчуждались не только личные вещи, но и сами тела пленников: они были лишены свободы передвижения и действия, отняты были даже их личности — через присвоение номера вместо имени, посредством бесчеловечного обращения со стороны надзирателей. Даже если возникала возможность заполучить листы для записей, зачастую ввиду условий жизни в лагере писать не хватало ни физических, ни моральных сил. Но некоторым узникам удалось вести дневник несмотря ни на что, вкладывая в него переживаемый *здесь и сейчас* опыт. И тогда дневник сам по себе становился неким актом сопротивления, уголком сохранения человечности среди ужаса вокруг — и вопреки ему.

Подобным свидетельством войны является публикуемый дневник Ивана Гусева, написанный им во время трёхлетнего пребывания в лагере для военнопленных ШТАЛАГ IX А Цигенхайн в Германии во время Великой Отечественной войны.

Иван Андреевич Гусев (1914-2005) родился в деревне Пупково Кимрского района в Калининской (ныне — Тверской) области СССР; в 1965-ом году населённый пункт был переименован и на сегодня носит название деревня Набережная. До ухода на войну работал адвокатом. В армии имел воинское звание техника-интенданта 2 ранга (военно-хозяйственный и административный состав). Ранен и взят в плен под Вязьмой 15 апреля 1942-го года, скорее всего, в ходе Ржевско-Вяземской операции 1942-го года (8 января — 20 апреля 1942), наступательной операции Калининского и Западного фронтов в рамках продолжения советского контрнаступления под Москвой. Эта одна из наиболее кровопролитных операций в ходе Великой Отечественной войны («Вяземский котёл»). Дальнейший путь в качестве военнопленного уводил Ивана Андреевича всё дальше от родных мест: сначала он был помещён в пересыльный лагерь «Дулаг-184» (апрель-май 1942, г. Вязьма), затем временно находился в штрафном лагере Бохум (май-август 1942, Германия) и офицерском лагере для советских военнопленных ШТАЛАГ 336/Z Калвария (август-сентябрь 1942, Литва), пока в сентябре 1942-го года, спустя пять месяцев после пленения и череды перемещений, не оказался в лагере для военнопленных ШТАЛАГ IX А Цигенхайн (г. Труцхайн, Германия). Здесь он был заключён вплоть до 30 марта 1945-го года, когда лагерь был освобождён армией США.

ШТАЛАГ IX А Цигенхайн (1939-1945) был организован после нападения Третьего Рейха на Польшу как лагерь для военнопленных, а впоследствии стал самым большим лагерем на территории современной федеральной земли Гессен в Германии. Сначала в нём размещались польские и французские военнопленные (в том числе — будущий президент Франции Франсуа Миттеран), затем, вместе с расширением масштаба боевых действий — бельгийские, голландские, итальянские, сербские, английские и американские военнопленные. Тысячи советских военнопленных, прибывших в ШТАЛАГ IX А Цигенхайн начиная с осени 1941-го года, были размещены в так называемом «русском лагере» и отделены от других колючей проволокой, содержались в нечеловеческих условиях. Многие из них погибли от голода, болезней, жестокого обращения и истязаний; по отношению к ним не

соблюдалось Женевское соглашение относительно обращения с военнопленными. Отказано в человеческом подходе узникам «русского лагеря» было и после смерти – советских и сербских военнопленных хоронили в лесу, в братских могилах, без указания имён. На «лесном» кладбище похоронено, по приблизительным подсчётам, около 400 узников. Оставшиеся в живых военнопленные, в их числе и Иван Гусев, выполняли принудительные работы по сельскому хозяйству и в военной промышленности, спали в плохо отапливаемых, грязных, мало приспособленных для жизни бараках. Голод, холод, физическое и психическое истощение ввиду изнурительного труда и бесчеловечных условий проживания, неопределённость будущего были повседневностью «русского лагеря».

Вопреки необходимости ежедневного выживания на пределе человеческих сил и возможностей, в плену, вдалеке от Родины, Иван Андреевич Гусев вёл дневник, делал записи в свой «блокнот», как он его называл. Регулярные, хоть и не каждодневные, записи дневника охватывают временной промежуток последнего полугодия из трёх лет пребывания в ШТАЛАГ IX А Цигенхайн, то есть период с октября 1944-го по конец марта 1945-го года. О первых годах заключения в лагере можно судить лишь по нескольким отрывкам, в которых Иван Андреевич обращается к этому мрачному времени тяжелых испытаний: «Очевидно, придётся провести здесь ещё одну, по счёту третью, зиму. Первая была кошмаром, трудно укладывающимся в сознании. Это было время жуткой борьбы угасающего тела с жестокой жизнью. Вторая была сравнительно лучше. А какова будет третья – решит время. Можно одно только сказать, что я уже не тот и духом, и телом. Я научился ждать и верить, что правое дело восторжествует» (от 12 ноября 1944). Тот самый кошмар, через который пришлось пройти Ивану Гусеву, был и остался неопишем, недоступен для переложения в слова. В то время все силы были брошены на схватку за саму жизнь. Дневник появился уже тогда, когда шанс на физическое выживание был отвоёван у умерщвляющих условий лагеря. В приспособлении и сохранении от разрушения нуждалось не только тело, но и личность, разум.

При прочтении дневника изумляет его общий тон – между строк обнаруживается постепенно крепнущая в человеке светлая надежда. Надежда остаться в живых, надежда вновь обрести свободу – надежда вернуться домой. Пожалуй, это ключевое и коренное изменение в настрое автора, обнажающее разницу между первыми годами пребывания в лагере и последним полугодием, нашедшим отражение в записях дневника. Насколько тогда каждая минута, час и день, проведенные в страдании, отдаляли от радости жизни, ввергая в болезнь и отчаяние, отчуждали от мира вокруг, других людей и самого себя, настолько в период написания дневника каждый день, наоборот, приближал к освобождению, торжеству жизни и свободы, окончанию боли и лишений. Постепенно Иван Андреевич всё сильнее утверждает в своей надежде вновь – когда-нибудь – быть свободным и счастливым человеком: «Ребята играют и поют. Слушая их, я думаю, что, не смотря на холод, голод и др. лишения, мне все-таки лучше, чем в этот же период в 1942 году. На этот раз я уверен в конце войны и прочего и жду его» (от 21 декабря 1944). Конечно, сохранять и пестовать надежду в условиях неизвестности будущего и подавляющего ужаса настоящего было трудно. В дневнике остались запечатленными как моменты подъема духа, так и «чёрные дни», сомнения или даже страх поверить в возможность самой надежды: «Глупо как, всё устроено. Жить, хоть и жутко, страшно, тяжело, но жить. Ради чего, в сущности?... В ближайшем будущем ведь, пожалуй, смерть. Трудно верить, что страдания - путь к счастью...» (от 7 января 1945), «Ах, хорошо бы проснуться свободным, а не рабом, хотя завтра это не будет» (от 18 февраля 1945),

«Равнодушие к ожидающей меня судьбе полнейшее» (от 3 марта 1945). Надежда кажется временами почти призрачной, ускользающей, временами вновь ярко освещает запись за записью, но бесспорно одно – именно этим чувством пронизаны страницы дневника.

Жизнь пленника в лагере, на первый взгляд, тотально определена и контролируема другими – теми, кто держит в плену. Узнику отказано в имени (оно заменено порядковым номером), отказано в свободе воли, слова и действий, отказано даже в праве считаться полноценным человеком. Но остаётся внутренняя свобода выбора. Она была и у Ивана Гусева, проявлялась в его осознанной заботе о теле и душе вопреки внешним обстоятельствам – в малых повседневных жестах, а также через письмо, посредством которого он отстаивал и утверждал себя, по возможности пресекая посягательства на собственную личность извне. Первоочередной целью, конечно, было «выжить сегодня и дожить до завтра», обеспечить своё выживание. Поэтому дневник полнится бытовыми заметками касательно наличия или отсутствия еды и чувства сытости или голода соответственно («Хорошо не чувствовать голода! Хорошо!» (от 1 ноября 1944) или «Сегодня съел последний хлеб. Das ist sehr schlecht!» (от 10 декабря 1944)), о «стратегических запасах» табака, качестве сна, уловках и способах сопротивления холоду и голоду («На улице крепкий мороз, почти “русский” мороз. В бараке нас полсотни. Холод страшный. Бегал в поисках теплоты по бараку» (от 14 января 1945), «Сегодня попробовал свою чёрствую пайку подогреть в наглухо закрытом котелке, влив на дно несколько капель чая. Получился хлеб наисвежайшей выпечки. Почему я это не знал раньше» (от 26 декабря 1944)). Отмечал Иван Андреевич и смену собственных настроений: время от времени им овладевало то отчаяние и тоска, то мечтательность и уверенность в наступлении лучших времён. «Чего же, в сущности, хочется мне в этот момент? Может, мне не достаёт тепла, света, веселья? – Нет, к отсутствию или, вернее, к недостаточности первых двух я отношусь скептически и равнодушно, вследствие их недоступности. Последнего я и не желаю: не время и не место для него здесь» (от 4 ноября 1944).

Реальность лагеря с колючей проволокой, нарами в тесном бараке, изнурительной работой неотвратимо вторгалась в последнее пристанище человеческого – дневник. Иван Гусев с горечью отмечал, как пребывание в заключении сказывается на его телесном и душевном состоянии: «Силы каждый день оставляют моё худеющее тело. Иногда я замечаю, что голод медленно, но верно ослабляет мою психику. Я становлюсь растерянным, как ребёнок. Голода уже почти не чувствую, но день и ночь от ослабления кружится и болит голова» (от 17 марта 1945). «Удивительно, как ещё пишешь!» (от 11 марта 1945) – но, тем не менее, Иван Гусев продолжал писать. Несмотря на повсеместное присутствие лагерной действительности, от которой невозможно было отгородиться полностью, дневник представляется скорее пространством свободы, вопреки тому, что ужас лагеря находил место и среди записей. Дневник вместил в себя мысли и чувства, фантазии и желания, воспоминания и мечты – то «непрактичное», что, казалось бы, никак не способствовало выживанию как удовлетворению базовых человеческих нужд, но именно это, невероятным образом, помогало удержать то, что делало человека – человеком, позволяло выжить как существу разумному, духовному. Дневник был убежищем. В процессе письма создавалось и очерчивалось место для внутреннего мира человека, который последовательно разрушался лагерным механизмом, чьей конечной целью было низведение человека до животного состояния полной подчиненности и управляемости. Написание дневника позволяло сохранить себя, свой разум и свою человечность.

Страницы и строки дневника вместили не только заботу о том, как «выжить сегодня», но и дали пространство мечтам о будущем, а также светлым воспоминаниям о прошлом. Пребывание Ивана Гусева в жутком «русском» секторе лагеря ШТАЛАГ IX А Цигенхайн не сводилось исключительно к выживанию как минимальному поддержанию физического существования; он не стал «ником» из безымянного, пронумерованного числа пленников, согласно замыслу лагерной системы. Дневник Ивана Гусева является ярким свидетельством выражения и утверждения внутренней свободы личности в самых тяжёлых условиях. Он искал и находил крупинцы надежды в простых мелочах каждого дня и помещал их в дневник как в своеобразную сокровищницу. Смену времён года и погодные прихоти нельзя было спрятать за колючей проволокой, как и красоту возрождающейся по весне природы, приносящей столь нужное и ценное тепло и солнечный свет. Сил держаться придавало и общение с другими военнопленными из барака – «Профессором», «Жоркой», «Петром Ивановичем» и другими (в оригинале дневника сохранились тщательно записанные адреса, по которым образовавшееся товарищество надеялось связаться друг с другом после войны). С другими можно было разделить свою боль и вместе строить планы на «время потом», вспоминать былое, беседовать, выручать друг друга запасами, подбадривать сведениями о продвижении на фронте, иными словами: не утрачивать веру в жизнь и другим не позволять. Важно было воспринимать свой труд, пускай и подневольный, как осмысленный, что удалось Ивану Гусеву. Он, предположительно, работал сапожником: «Мне жаль только одного, что остаётся товар, который, я боюсь, останется не произведённым в готовые вещи, которые так нравятся мне, когда я смотрю на дело своих рук» (от 3 марта 1945). И, конечно, большим потенциалом по утверждению смысла жизни и её неотъемлемой ценности обладает искусство – в случае Ивана Андреевича – добытые в лагере книги, впечатлениями от которых он делился в дневнике (А. Дюма «Двадцать лет спустя», Н.Г. Гарин-Михайловский «Гимназисты»). Искусство возвышало над ужасающей действительностью и не позволяло замкнуться в безнадежности.

Обретение смысла в собственном труде и в общении с «товарищами по несчастью», нахождение красоты в природе, книгах, искусстве являлись ключом к выживанию и сохранению своего «Я» в невыносимых жизненных условиях. Эту стратегию, исходя из собственного опыта, описал известный австрийский психолог и психиатр, бывший узник концентрационных лагерей (в разное время пребывал в лагерях Терезиенштадт, Дахау, Освенцим) Виктор Франкл: «Девизом всех психотерапевтических и психогигиенических усилий может стать мысль, ярче всего выраженная, пожалуй, в словах Ницше: У кого есть "Зачем", тот выдержит почти любое "Как". Надо было в той мере, в какой позволяли обстоятельства, помочь заключенному осознать свое "Зачем", свою жизненную цель, а это дало бы ему силы перенести наше кошмарное "Как", все ужасы лагерной жизни, укрепиться внутренне, противостоять лагерной действительности. И наоборот: горе тому, кто больше не видит жизненной цели, чья душа опустошена, кто утратил смысл жизни, а вместе с ним – смысл сопротивляться». Это рассуждение справедливо и относительно ситуации, в которой находился Иван Гусев. С этой точки зрения его дневник можно рассматривать как некую «точку сборки» воедино всех сил, утверждающих жизнь, позволяющих выжить и жить.

Ключевым образом, сквозным для череды дневниковых записей, является образ возлюбленной Феи. «Фея» — так нежно Иван называет свою жену Фаину (Феодосию)

Коваленко на страницах дневника. Она упоминается на протяжении всего дневника в обращениях, воспоминаниях, посвященных ей стихотворениях или записанных снах. Её облик бережно сохранялся Иваном Андреевичем в памяти вплоть до мельчайших деталей – взгляд, голос, жесты – и таковым был увековечен в одной из записей: «И вот как когда-то давно я видел её и любил всегда её такой, она стоит и сейчас перед моими глазами хоть и не она; а образ её, не стёртый годами, явился мне сюда, на нары, где я пишу при тусклом свете маленькой коптилки. Я вижу её, освещённое тихой улыбкой, лицо, без тени кокетства и рисования. Глаза, чистые и грустные, нежно и ласково смотрят на меня. Она счастлива, и всё говорит в ней об этом. Голос её, как нежное воркованье голубки, мягок и проникновенен. Движения простые и лёгкие. В изящном наклоне головы в момент разговора со мной чувствуется большая близость, но близость не подчёркнуто выпуклая, которую любят иногда проявить жёны к мужьям в присутствии общества, а такая простая, естественная, что глядя на неё в эту минуту, невозможно усомниться в чистоте и искренности её чувств. Лицо её порозовело, вьющиеся волосы спадают на лоб и она то и дело мягким движением руки поправляет их. Как девочка, она украдкой время от времени пожимает мне руку, всякий раз заговорщически улыбаясь мне. Её внимательность ко мне не знает границ. Делает она это так мило и просто, что внимательность её не надоедает и не вызывает смущения. Эх! До чего же хочется увидеть её такой, хотя бы один раз, хотя бы на один миг, чтоб только оживить в сердце своём её образ, чтоб только вдохновиться им и снова ждать, пока не рухнут шатающиеся здания наших тюрем, не разомкнутся дьявольские тенёта колючей проволоки и солнце свободы не ворвётся в наши темницы, а выросшие на наших плечах крылья не унесут нас отсюда навстречу океану мечт» (от 5 ноября 1944).

Справедливо будет отметить, что желание вернуться домой к любимой, нежная и верная любовь к ней, поддерживающие в трудные минуты светлые воспоминания и были тем самым «Зачем» Ивана Гусева, основной причиной не сдаваться и продолжать борьбу, тем смыслом, что подпитывал надежду на освобождение и позволял вынести все невзгоды и бытовые трудности. Если чтение украдкой добытых книг, разговоры о математической науке с другими обитателями барака или наблюдение за переменчивой погодой не позволяли миру замкнуться лишь на действительности лагеря, то образ Феи утверждал мысль о том, что мир за колючей проволокой не просто существует, но в нём есть люди, которые Ивана Андреевича ждут. Мир за пределами лагеря – не фантом и не утешительная выдумка; он был неоспоримо реален за счёт конкретных мест и людей, которые остались вне рамок плена. Фаина, Фея – наиболее яркий образ, который, словно маяк, задавал стремлению обрести вновь свободу определенное направление: «Хочется увидеть сияющее радостью лицо жены» (от 5 ноября 1944). Фея воплотила в себе средоточие всей возможной в мире красоты, любви, счастья, чистоты, теплоты и света. И к ней, как к источнику счастья и смысла жизни, всеми доступными душевными силами тянулся из заточения Иван Гусев.

Мечта о встрече была столь сильной, что подчас ему становилось страшно грёзить о ней, настолько разительным был контраст между желанной мечтой и постылой, жестокой реальностью: «Милая, родная, обаятельная, где Ты? Ждёшь ли, дождёшься ли, признаешь ли? О как грустно – далеко до этого! Нет, я не могу, не смею мечтать о встрече. Ведь это прежде всего значит выйти отсюда, ведь это означает радостные события в то время, когда всюду царствует ужас смерти. Нет, эта мечта уж слишком нереальна и беспочвенна, она не для меня, 3 года выносящего позор и ужас неволи, а потому не смеющего смотреть дальше недели

вперёд» (от 3 марта 1945). И всё же полностью отказаться от мыслей о Фее значило не только отсечь связующую нить с внешним миром, но и лишить самого себя надежды. Пока надежда, усиленная образом любимой Феи, придавала сил, возможно было всё: «Три с лишним года отделяют меня от неё. Тысячи вёрст, сонм врагов, страна ужаса лежат на моём пути к ней. И только мысль, которую людям не удаётся подчинить чужой власти, мчит, минуя преграды, к ней – царице моих мечт» (от 28 октября 1944).

Сродни тоске любовной по родному человеку была тоска по родным местам. Мучительная боль из-за оторванности от привычного уклада жизни, среднерусского ландшафта, деревенского быта особенно остро ощущалась в сравнении с враждебным окружением чужой страны. Пленник жуткого лагеря вдали от родного дома. Страх так и остаться здесь, не вернуться, быть похороненным в безымянной могиле в близлежащем лесу. Постепенно даже самые обыденные моменты и детали обращают к близкому и родному – осязаемо и зримо: «Слушаю заунывный вопль ветра в трубе и думаю о том времени, когда слушал это тоскливое завывание, лёжа на горячей печке у себя в деревне. Повторятся ли эти знакомые родные мотивы?» (от 4 февраля 1945). Воспоминания о покинутом доме начинают обретать черты идеала, почти земного рая, которому противопоставлен ад наяву – лагерь ШТАЛАГ IX А Цигенхайн. Наглядно это противостояние просматривается в рождественской записи:

«Наше Рождество на Руси. Крепкие скрипучие морозы. Дома, сады, леса, тыны и изгороди – всё это в пушистом искрящемся инее. В лунном сиянии ослепительное сверканье причудливых снежинок. Громкий скрип идущих ног сливается с гулкими выстрелами трескающего на морозе дерева. Сизый дым высоко поднимается к небу. В домах тепло и уютно. Топятся лежанки. Яркое пламя вспыхивает в объётом сумеречной мутью доме, нежит и манит протянуть ему навстречу ему руку. Девушки и ребята принаряжаются для посиделок. На улице песни. Далеко в чистом морозном воздухе разносятся молодые задорные голоса.

Это Родина и это было давно. Годы и многосотвёрстное расстояние отделяют меня от неё.

Здесь Германия. Холод сливается с голодом, рождает муки, нестерпимые муки коченеющего тела. Бездушие, безотрадная безвольная тоска, переходящая в апатию, в покорное роковое оцепенение. Мысль бежит, не в силах сосредоточиться на одном предмете. Сквозит одно: мёрзнут ноги, спазмы голода рвут горло. На улице – темень грязной серой пеленой, едва видный, лежит жиденький снежок. Всюду проволока. И даже вечно стремящееся вперёд, запуталось в этом хаосе и застыло для нас. И кажется: нет на свете и не было жизни, для которой мы родились, нет и не было родных и близких, теплоты, ласки, участия. Царство ужаса и страданий – наше Время, безысходность - наш Удел» (от 7 января 1945).

Жажда свободы и стремление к встрече с близкими людьми и возвращению домой – то, что придавало сил в борьбе за свою жизнь, что придавало ей смысл в реалиях «русского» сектора лагеря. Они нашли воплощение в записях дневника, который вместили в себя все переживания, взлёты и падения духа автора – дневника, в каждой строчке и слове которого

оттиском проявилась воля человека – воля к жизни, воля к свободе. На протяжении всего дневника, от записи к записи, надежда на спасение, сначала призрачная, крепнет и под конец становится почти осязаемой. Ближе к весне 1945-го года наряду с бытовыми заметками, воспоминаниями и впечатлениями всё настойчивее и чаще появляются обрывочные сведения и слухи относительно текущего положения дел на фронте: «Наши, будто бы, переправились через Одер в районе Франкфурта. Опять бомбёжка на западе, ещё более сильная чем вчера. Сплошной грохот» (от 4 февраля 1945), «Проходит Февраль. Наши почти остановились. Запад по-прежнему пассивен. Неужели будущая неделя (до 25 февраля) не принесёт новостей, вернее ожидаемого давным-давно сдвига на Западе?» (от 18 февраля 1945). Наконец, последняя запись в дневнике, написанная за пять дней до освобождения лагеря, как будто предвосхищает своим оптимизмом и жизнерадостностью грядущие события, конец заключения и близкий конец войны:

«Прекрасные дни. Небо не омрачается ни облачком. Ветра нет. Солнце уже начинает печь» (от 25 марта 1945).

По возвращении домой в СССР Иван Гусев смог доказать, что попал в плен раненым, поэтому репрессирован не был, но был лишён звания и получил запрет на работу по образованию (юристом), поэтому до пенсии трудился на фабрике. К счастью, ещё при жизни, в 1994-ом году (Ивану Андреевичу на тот момент было 80 лет), звание было ему возвращено. Его дневник, вместе с интервью о его воспоминаниях о пребывании в лагере ШТАЛАГ IX А Цигенхайн (интервьюер Алина Сотковская, Москва, 2001), стали важными свидетельствами Великой Отечественной войны. Сквозь года этот редкий и ценный документ остался в целости и сохранности благодаря работе Мемориала и музея Труцхайн, которому Иван Андреевич доверил свою записанную «память»: мемориал и музей находится на месте бывшего лагеря. Центр биографических исследований АИГИА выражает отдельную благодарность Карин Брандес, руководительнице музея, за предоставленные материалы и возможность публикации дневника. Именно под её руководством небольшая команда музея (4 человека!) осуществляет неоценимую работу по сохранению памяти о военнопленных и их судьбе — восстанавливает имена похороненных на «лесном» кладбище людей, ведёт переписку с родственниками бывших узников, собирает воедино личные истории военнопленных. Этот непростой, кропотливый труд сотрудников музея даёт нам возможность не забывать и помнить.

[1] Официальный сайт Мемориала и музея Труцхайн (Gedenkstätte und Museum Trutzheim). Доступ по ссылке: <https://www.gedenkstaette-trutzheim.de/>

[2] Франкл В. «Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере. Москва, 2009.

[3] Iwan Gusew: Tagebuch 25.10.1944 bis 25. März 1945 / Redaktion: Waltraud Burger, Lukas Grede. Schwalmstadt, 2010.

Автор предисловия, редактор текста публикации: *Анна Резвухина*
Подготовка текста к публикации: *Любава Путьля, Елена Стихина*

* Текст приводится по печатному изданию “Iwan Gusew: Tagebuch 25.10.1944 bis 25. März 1945” (Redaktion Waltraud Burger, Lukas Grede; Schwalmstadt, 2010), любезно предоставленному руководительницей Мемориала и музея Труцхайн (г. Швальмштадт-Труцхайн, Германия) Карин Брандес. Орфография и пунктуация оригинала сохранены. К публикации прилагаются отсканированные фотографии, размещенные в печатном издании-первоисточнике.

Iwan Gusew

TAGEBUCH

25. 10. 1944 bis 25. März 1945



Gedenkstätte und Museum Trutzhain

Обложка печатного издания «Иван Гусев: дневник с 25 октября 1944 по 25 марта 1945» (под редакцией В.Бургера и Л.Греде, Швальмштадт, 2010)

ДНЕВНИК ИВАНА ГУСЕВА
(с 25.10.1944 по 25.03.1945)

Среда, 25 октября 1944

Вечер. Состояние несколько хуже обычного: отсутствие хороших видов на ближайшее будущее. Запасы тают, приобретений не предвидится. Вообще плохо.

Рассказы о математике немного развлекли, вернее, отвлекли от нехороших мыслей.

Но плохо одно: война продолжается.

Суббота, 28 октября 1944

Нежные звуки вальса подняли меня с нар. Они плывут в сумраке мрачного вида нашей тюрьмы, бьются о голую грязную стену, носятся между тесными проходами нар-стойл; вырываются через дырявые окна на улицу – на гадкий двор наших застенков и придавлено умолкают в тисках тьмы колючей проволоки. Сырой осенний воздух, нависшее тяжёлое свинцовое небо слушают рвущиеся к свободе и солнцу чарующие звуки гармоники.

Один вид опутанного паутиной проволоки двора наводит уныние. Один вид барачных дворов чего стоит! И гармоника уже бессильна вызвать образы прошлого, недвижно застывшего в нашем сознании. И даже ночью, во сне, когда мысль бессознательно рвётся за пределы нищенского сегодня, его гнусная испытывающая голодом вражеская зона насильно врывается в творческую фантазию сна. И, о ужас, очарование мечты исчезает для того, чтобы уступить место вечно гложащим заботам о телесной пище. Почему хотя бы сон не унесёт меня в мир красоты и довольства, в мир любви и счастья, к подруге, имя которой не уставая шепчут мои губы.

Но образ её всё реже и реже является мне во сне. Всё дальше и дальше отодвигается время встречи.

Три с лишним года отделяют меня от неё. Тысячи вёрст, сонм врагов, страна ужаса лежат на моём пути к ней. И только мысль, которую людям не удаётся подчинить чужой власти, мчит, минуя преграды, к ней – царице моих мечт.

Милая, о как хотел бы я знать, передаётся ли тебе моя тоска, моё неустанное стремление к Тебе, боль, изголодавшегося, но непогасшего в неволе сердца?...

Подумай обо мне, родная, в эту минуту!

1 ноября 1944

Вот он уже пришёл – ноябрь месяц, который мы годами встречали с радостью. Он и сегодня принёс мне сытость. Хорошо не чувствовать голода! Хорошо!

4 ноября 1944

Мне грустно. Это не тоска, сжимающая сердце острой ощутимой болью, от которой некуда уйти и которая нигде не находит места, переходит от одного человека к другому. Это тихое

смешанное чувство, чуть-чуть пощипывающее сердце непонятной но сладкой болью. Тебе кажется чего-то не достаёт, чего-то хочется, и именно, чего-то того, что непонятно и недосыгаемо. Чего же, в сущности, хочется мне в этот момент? Может, мне не достаёт тепла, света, веселья? – Нет, к отсутствию или, вернее, к недостаточности первых двух я отношусь скептически и равнодушно, вследствие их недоступности. Последнего я и не желаю: не время и не место для него здесь.

Может быть, мне хочется того, что изменит мою нищенскую бедную жизнь: победы, радости встречи с Родиной и близкими, главное, с Той, которая и в прошлом, и в настоящем, и в будущем всегда со мной? Да, я хочу этого упорно и настойчиво.

Но ведь нельзя сказать, что я хочу этого в данный момент, ибо знаю, что нет средств и нет возможностей для прихода этих желаний сейчас. Но не желать, только потому, что не иметь, бессмысленно, знаю: грусть – есть мечта, целью которой является стремление к тому, чего нет теперь, но которое возможно в будущем. Правда, мечтать можно не только о возможном. Но в таком случае, чем же будет желание недостаточного и нереального? Иллюзией?...

Но всё ж, куда ни кинешь взор,
Везде тюрьма и наш позор,
Как будто зона знает наговор, злой силы наглое глумленье.
Зачем, к чему пишу – пример простейших правил посрамленья...

5 ноября 1944

Сегодня день выдался на славу. Хорошо (конечно, относительно) покушал, и как-то веселей на сердце стало. В бараке сегодня не особенно холодно, причём, почти до обеда спал и холода не чувствовал вообще.

Хочется увидеть сияющее радостью лицо жены. Как она хороша, когда довольна мной, именно мной. С собой она никогда не хотела заниматься. У ней не было того нехорошего недовольства, набавления себе цены, самовлюблённости, эгоизма. Весь круг её жизни замыкался мной.

И вот как когда-то давно я видел её и любил всегда её такой, она стоит и сейчас перед моими глазами хоть и не она; а образ её, не стёртый годами, явился мне сюда, на нары, где я пишу при тусклом свете маленькой коптилки. Я вижу её, освещённое тихой улыбкой, лицо, без тени кокетства и рисования. Глаза, чистые и грустные, нежно и ласково смотрят на меня. Она счастлива, и всё говорит в ней об этом. Голос её, как нежное воркованье голубки, мягок и проникновенен. Движения простые и лёгкие. В изящном наклоне головы в момент разговора со мной чувствуется большая близость, но близость не подчёркнуто выпуклая, которую любят иногда проявить жёны к мужьям в присутствии общества, а такая простая, естественная, что глядя на неё в эту минуту, невозможно усомниться в чистоте и искренности её чувств. Лицо её порозовело, вьющиеся волосы спадают на лоб и она то и дело мягким движением руки поправляет их. Как девочка, она украдкой время от времени пожимает мне руку, всякий раз заговорщически улыбаясь мне. Её внимательность ко мне не знает границ. Делает она это так мило и просто, что внимательность её не надоедает и не вызывает смущения.

Эх! До чего же хочется увидеть её такой, хотя бы один раз, хотя бы на один миг, чтоб только оживить в сердце своём её образ, чтоб только вдохновиться им и снова ждать, пока не рухнут шатающиеся здания наших тюрем, не разомкнутся дьявольские тенёта колючей проволоки и солнце свободы не ворвётся в наши темницы, а выросшие на наших плечах крылья не унесут нас отсюда навстречу океану мечт.

6 ноября 1944

День мой сегодня начался с неприятностей и думал я, что окончание его будет грустным. Скушав пайку хлеба, правда, с двойной порцией масла, я приготовился к голодному вечеру. Размышления мои привели меня к сознанию всё ухудшающегося положения с питанием и табачком. У меня его оставалось всего едва ли на вечер и то с той жесточайшей экономией, чуть ли не граничащей со скарелдностью, с которой орава наших ребят не умеет обходиться так как я. А о пище и говорить нечего. С пайкой ушла и последняя надежда покушать.

7 ноября 1944

В бараке очень холодно и полутемно, как всегда. Впрочем, может быть, чуточку посветлее, т.к. сегодня возможно чтение на моей высоте, в 1½ метрах от пола на нарах, что я и делаю, лёжа на брюхе. Чтение, несмотря на явные неудобства, объясняется той увлекательной книгой, которой я со вчерашнего дня занят, а именно – «Двадцать лет спустя» Дюма. Следя за виртуозным умом д'Артаньяна, поражаясь его удивительным похождениям, я всё же на минуточку оторвался от него, потому что сегодня слишком замечательный день, чтобы ничего не отметить о нём в мой блокнот.

Сегодня на Родине моей Большой Праздник. Он же и удивительнейшим образом совпал со знаменательным событием в моей жизни: сегодня, 7 ноября (25 октября по старому стилю) мне исполнилось 30 лет. 30 лет!

Я уже перешагнул мир юности, мир красоты и мечт. Теперь иной начался путь – путь к старости. Будет ли счастлив этот последний путь – кто знает, но знаю твёрдо одно: его начало нехорошо. Я пленник. Надолго ли? Суждено ли птичке ещё раз увидеть волю?

12 ноября 1944

Сегодня день моих именин. Сама судьба, сжалившаяся на этот раз надо мной немного, принесла добавочную пищу, не предусмотренную, в мой дневной рацион.

Дни стоят не очень холодные. На улице хотя и слякоть, но погода тёплая. Скоро наступит вечера, когда только постель будет согревать нас. Очевидно, придётся провести здесь ещё одну, по счёту третью, зиму. Первая была кошмаром, трудно укладываемым в сознании. Это было время жуткой борьбы угасающего тела с жестокой жизнью. Вторая была сравнительно лучше. А какова будет третья – решит время. Можно одно только сказать, что я уже не тот и духом, и телом. Я научился ждать и верить, что правое дело восторжествует.

20 ноября 1944

Ничего не хочется делать: лень и нехорошее предчувствие. Спать! Потом разберёмся.

26 ноября 1944

Образ не по-земному милой (чистейшей прелести – чистейший образец) вызвал в сердце моём более живой и поэтому более обаятельный образ моей Феи.

Где ты, моя Офелия, думаешь ли Ты обо мне, души моей единая отрада,
звезда моих мечтаний и надежд,

и снов, и сладких дум, царица неземная,
волшебный света луч в ночи судьбы моей?

А веришь ли, что вдалеке от Родины, страдая и терзаясь,
бездействием и совестью томясь,

живу надеждой встретиться с тобою и вновь, как прежде,
всё лучшее во мне сложить к твоим ногам:

отдать тебе огонь, разлукою пополненной, любви;

всю силу опыта, накопленного мной, за годы тяжких лет;

и трезвость разума, и чистоту души,
прошедшей через горнило мук и горечь унижений.

Всё, что я имею, что я могу отдать тебе одной

И лишь за то, одно, что среди хлама прошлых лет воспоминаний
незабываемой красой сверкает в памяти моей
один алмаз – любовь твоя и верность.

10 декабря 1944

Днём шёл снег. Тяжёлые мокрые хлопья падали на грязь и лужи и таяли, не оставляя следа. В бараке исключительно холодно особенно до обеда. Вчера прошёл слух, что некоторых из нас посылают в команды. Относительно меня много непонятностей: то ли остаюсь, то ли еду. Пока ещё сегодня не объявляли и уже, пожалуй, не объявят – поздно. Завтра увидим. Сегодня съел последний хлеб. Das ist sehr schlecht!¹

11 декабря 1944

Петрович, Жорка, Новиков и Петр Иванович ушли сегодня из мастерской. Я остался. Надолго ли?

Начинается новая эра в моей жизни. Или хорошо будет, или плохо. Середины быть не может.

¹ «Это очень плохо!» - перевод с немецкого языка.

На улице бело от выпавшего ночью снега. В середине дня немного помягчало, но ненадолго. Зима началась и притом её начало принесло новость в наше маленькое товарищество. Между прочим, мало кто жалеет о случившемся. Оно и понятно: мы надоели друг другу так же, как надоело нам «всё это». Надоело до чёртиков, до тошноты.

13 декабря 1944

Петрович, Жорка, Новиков уже уехали вчера. Трошин назначен к Петровичу во Флиден. Очередь за мной. Неужели в плохую, самую худшую, как почему-то думаю я, назначат меня? Состояние духа ужасное – не найду места. Табаку – на день. Хлеба нет. Голодно.

Ах, какое нехорошее время. И война всё продолжается.

Холод вчера и сегодня невообразимый, хотя на улице не более 8 – 10 градусов мороза. Прошлую ночь мучился от холода так, как, мне кажется, не мучился уже со времени зимы 42-43 гг. До обеда были в бане. Разделись, отдали в дезкамеру бельё, но не помылись: не работала электросеть. Обед из-за той же причины был в первом часу. После обеда лёг, но замерзающие ноги не дали уснуть. Встал, как оглашённый бегал, пытаюсь согреться по бараку, но... всё равно холодно было. Благодаря вареву за тапочки не брался.

Ах, как ужасна наша жизнь! Когда, когда же придёт конец этому ни на что не похожему кошмару? Когда же?!

Фея, милая, вспомни обо мне, родная!

19 декабря 1944

Чёрные дни. Неудача за неудачей.

21 декабря 1944

Впервые сегодня в бараке так холодно. Замерзают ноги и руки. На улице луна и мороз.

Завтра 3,5 года войны. О, как долго длится она. Впрочем, пусть: финал ещё не наступил, а он должен быть, хотя бы во имя Справедливости.

Ребята играют и поют. Слушая их, я думаю, что не смотря на холод, голод и др. лишения, мне все-таки лучше, чем в этот же период в 1942 году. На этот раз я уверен в конце войны и прочего и жду его.

24 декабря 1944

Ночь под Рождество, правда – Рождество не наше русское, немецкое.

Сварил какую-то мучную, противно-сладкую жидкую похлёбку. Ни на что не похоже, хотя продуктов было столько же, сколько вполне хватило бы на варёво, которое я иногда устраивал. Это всё из-за недостатка опыта. Хотя и хочется есть, все вдруг закурили, хотя курить и нечего.

Каждый воскресный день звонит колокол собора св. Петра, что в Риме. Здесь он передаётся по радио. Давно забытое и далёкое в контрасте с проклятым настоящим встаёт в памяти детство, деревня. Теперь же он звучит словно насмешка над опоганенной немцами жизнью. Ввергнув мир в пучину хаоса разрушения, они притворяются верующими в светлое начало, идею, чистую и прекрасную в своём стремлении посеять в мире добро и любовь.

26 декабря 1944

Прошло Рождество. Эти дни были днями мук. Холод в бараке невообразимый. И спать, и ходить, и сидеть холодно. На улице вчера было -10 градусов. Сегодня, по-видимому, больше. Голод – первая причина всего, делает холод, подчас невыносимым, только и согреваешься по вечерам, когда топится единственная печка на весь огромный сарай-барак, заселённый всего на 1/6 своей вместимости. Впрочем, топлива для неё хватает на 3-4 часа, меньше даже! Сегодня попробовал свою чёрствую пайку подогреть в наглухо закрытом котелке, влив на дно несколько капель чая. Получился хлеб наисвежайшей выпечки. Почему я это не знал раньше. Завтра на работу. Там хоть согреюсь.

7 января 1945

Наше Рождество на Руси. Крепкие скрипучие морозы. Дома, сады, леса, тыны и изгороди – всё это в пушистом искрящемся инее. В лунном сиянии ослепительное сверкание причудливых снежинок. Громкий скрип идущих ног сливается с гулкими выстрелами трескающего на морозе дерева. Сизый дым высоко поднимается к небу. В домах тепло и уютно. Топятся лежанки. Яркое пламя вспыхивает в объётом сумеречной мутью доме, нежит и манит протянуть ему навстречу ему руку. Девушки и ребята принаряжаются для посиделок. На улице песни. Далеко в чистом морозном воздухе разносятся молодые задорные голоса. Это Родина и это было давно. Годы и многосотвёрстное расстояние отделяют меня от неё. Здесь Германия. Холод сливается с голодом, рождает муки, нестерпимые муки коченеющего тела. Бездушные, безотрадная безвольная тоска, переходящая в апатию, в покорное роковое оупение. Мысль бежит, не в силах сосредоточиться на одном предмете. Сквозит одно: мёрзнут ноги, спазмы голода рвут горло.

На улице – темень грязной серой пеленой, едва видный, лежит жиденький снежок. Всюду проволока. И даже вечно стремящееся вперёд, запуталось в этом хаосе и застыло для нас. И кажется: нет на свете и не было жизни, для которой мы родились, нет и не было родных и близких, теплоты, ласки, участия. Царство ужаса и страданий – наше Время, безысходность – наш Удел.

А завтра – то же. И так без конца влачащаяся в жизненной пустоте лямка жестокой судьбы-искусительницы...

Табаку на одну закурку. Без него ещё большая тоска. Выдадут не ранее 20-го. Значит, 13 дней не курить. Плохо. Холодно, а спать нет охоты. Глупо как, всё устроено. Жить, хоть и жутко, страшно, тяжело, но жить. Ради чего, в сущности?... В ближайшем будущем ведь, пожалуй, смерть. Трудно верить, что страдания – путь к счастью...

«Скажи, зачем Тебя я встретил,
Зачем тебя я полюбил,
Зачем твой взор улыбкой мне ответил
И сердцу муку подарил?»

(«Пути небесные»)

Четверг, 11 января 1945

Тот же холод. Читаю «Пути небесные» Гумилёва. Новая книга немного развлекла. Но та ж тоска. И ходил к врачу проситься в команду. А что делать мне? Ожидать здесь? Да?

Пятница, 12 января 1945

На улице оттепель. Плачут крыши. Становится теплее.

Воскресенье, 14 января 1945

День Нового года по старому стилю. На улице крепкий мороз, почти «русский» мороз. В бараке нас полсотни. Холод страшный. Бегал в поисках теплоты по бараку.

Среда, 17 января 1945

Плохо дело. Хлеба нет. Голод прежний. Судьба.
Скука какая! Наши у Кракова и Ченстохова. Идут родимые! Скорее бы, скорей!..
Дылда и «Профессор» ушли сегодня из барака. Вот уже 10 дней без табака. Курить хочется.

Воскресенье, 21 января 1945

Вчера вызывали на визит. Из восьми одного меня признали здоровым. Теперь жди назначения в команду.
Мне страшно надоело здесь. Скорей бы!

Пятница, 2 февраля 1945

31 января началась оттепель. За эти три дня стаял почти весь снег.

Где бы ни был я, куда б ни занесла меня судьба,
Тебе я буду верен.
У разума, у воли – два весла,

Я с ними в море жизни не потеряю.
Они помогут ушлый чувства чёлн
Вернуть в семью, скорбящую в разлуке.
Где б ни был я, тобой всегда я полон,
Твой образ облегчает сердца муки.

Воскресенье, 4 февраля 1945

Вчера было тепло, а сегодня уже холодно. Снега нет. Но за ночь так подморозило. Что за весь день не отпустило.

День сегодня проходит скучно. До 9-ти – баня, после бани до обеда – чтение на койке. Обед, надо сказать, сегодня не плохой (гороховый суп). После – снова чтение. Замёрзли ноги, пришлось утеплять носки.

Наши, будто бы, переправились через Одер в районе Франкфурта.

Опять бомбёжка на западе, ещё более сильная чем вчера. Сплошной грохот.

Конец 10-го или 11-го ночи. 31 человек спят. Один я стою у остывающей чугунной печки, и хотя хочу спать, но медлю уходить от Благословенного тела в холод неудобной и грязной постели нар.

Слушаю заунывный вопль ветра в трубе и думаю о том времени, когда слушал это тоскливое завывание, лёжа на горячей печке у себя в деревне. Повторятся ли эти знакомые родные мотивы?

«Есть другое счастье на земле, истинное и единственное счастье, заключающееся в самосознании, кто ты и что ты значишь в той жизни для других, в той сфере, которая не доступна ни грязным рукам проходимца, ни роковым случайностям»

Гарин-Михайловский

Пятница, 9 февраля 1945

Ноль хлеба и 2,5 кг гороху – вот результат вчерашней дневной работы. Правда, горох, никуда не годен, т.е. относительно, но по нашему стрёмно, посмотрим, как будет развариваться.

Надо форсировать жизнь, т.е. работать побольше и понахальнее, иначе – прозябание.

Не курю уже с пятницы, т.е. неделю. Но со временем первого перерыва 15 дней, а курить не разучился.

Суббота, 10 февраля 1945

Дышать трудно. Только, что сделал палочку.

Воскресенье, 11 февраля 1945

Вот и воскресенье уже. Только что пришли из бани. Скучно и холодно. Сырость ужасная. Дыхание испускает такой пар, что кажется...²

Среда, 14 февраля 1945

Погода стоит прекрасная, словно конец или середина апреля в средней части Союза. Почти высохла грязь. Солнце уже греет и прямо с каждым днём забирается выше и выше.

Четверг, 15 февраля 1945

Смутно на сердце. Когда же, наконец, я прерву бездеятельную пустоту своей жизни.

Воскресенье, 18 февраля 1945

Ах, как мне не везёт. Сегодня кинокартина была. Да к тому же 2 раза за день, т.е. с перерывом на обед. Картина не плохая, авантюрная, а вторая – три журнала и нечто вроде³...

Погода по-прежнему весенняя. Удивительно! Впервые вижу весну среди зимы. Второй уже год здесь читаю «Гимназисты» Гарина-Михайловского. Кажется, это часть его трилогии. Должны быть «Детство Тёмы» и «Студенты». Если мне удастся выжить, вернуться домой, на Родину нужно прочитать эти две книги.

А выжить с каждым днём становится труднее. Суп страшно жидкий и то чуть побольше литра. У меня не хватает терпения хлебать воду и я просто пью через край до густоты, составляющей 1/3 порции. А вечером 300 гр. хлеба. И это всё, всё!

Боже мой, как это всё неимоверно трудно.

Проходит Февраль. Наши почти остановились. Запад по-прежнему пассивен. Неужели Будущая неделя (до 25 февраля) не принесет новостей, вернее ожидаемого давным-давно сдвига на Западе?

Интересно: вот уже третье воскресенье стою дольше всех у печки и пишу. Все, все лежат, многие спят, а у меня дурацкая привычка ложиться тогда, когда становится неважно от сна. И так, спать! Ах, хорошо бы проснуться свободным, а не рабом, хотя завтра это не будет.

Суббота, 3 марта 1945

² В оригинале нет конца предложения.

³ Следующее слово неразборчиво.

Вчера мы последний день работали в мастерской. Сегодня полный день валяюсь на нарах. Равнодушие к ожидающей меня судьбе полнейшее. Мне жаль только одного, что остаётся товар, который, я боюсь, останется не произведённым в готовые вещи, которые так нравятся мне, когда я смотрю на дело своих рук. Хотя толку мало в них. Забота наживаемая, благодаря им, не окупается – по-прежнему.

Ах, как скучно! Холодно сегодня. Март также, как и в прошлом году, принёс снег, слякоть и стужу.

Завтра, пожалуй, следует заняться ботинками. А сегодня уже не стоит: праздник, выходной. Хотя сколько ещё будет выходных – пустых и голодных дней.

Снова Феня ночью являться стала мне во сне.

Года прошли, но ты по-прежнему всё та ж,
В мечтаньях моей тоскующей души,
В манящем зове трепетных мираж,
Встающих предо мной в полуночной тиши.
Всё тот же чудный взгляд,
Ласкающий и нежный,
Задумчивая грусть
Правдивейших очей,
Всё так же голос Твой
В душе моей мятежной
И будит, и зовёт
Любовь минувших дней.

Милая, родная, обаятельная, где Ты? Ждёшь ли, дождёшься ли, признаешь ли? О как грустно – далеко до этого! Нет, я не могу, не смею мечтать о встрече. Ведь это прежде всего значит выйти отсюда, ведь это означает радостные события в то время, когда всюду царствует ужас смерти. Нет, эта мечта уж слишком нереальна и беспочвенна, она не для меня, 3 года выносящего позор и ужас неволи, а потому не смеющего смотреть дальше недели вперед.

«Если тебе понравится девушка и ты почувствуешь, что она – создание капризное и коварное и не способно оценить тебя по достоинству, сделай над собой усилие и оставь её, чего бы ни стоило тебе это усилие. Беги, потому что, когда мужчина бежит от женщины, он одерживает победу не только над ней, но и над самим собой». Это Наполеон сказал. «Беги немедленно».

«Мы знаем, каждый век, по-новому богат и каждый миг по-новому чудесен».

Воскресенье, 11 марта 1945

По-настоящему голодные дни. Меньше литра воды, именуемой супом (несколько ложек разваренного картофеля, несколько ложек брюквы или травы и вода) и плюс 250 гр. хлеба. И это всё за день. Удивительно, как ещё пишешь!

Суббота, 17 марта 1945

Силы каждый день оставляют моё худеющее тело. Иногда я замечаю, что голод медленно, но верно ослабляет мою психику. Я становлюсь растерянным, как ребёнок. Голода уже почти не чувствую, но день и ночь от ослабления кружится и болит голова.

Курить никак не могу кончить, и каким мерзким я кажусь всякий раз себе, когда громадным усилием воли, подавляя стыд, прошу у ребят с деланно-безразличным или заискивающим видом докурить. Чуть ли не ежедневно приносят они табак. Среди них мой, спящий на нижних нарах земляк – белорус из Могилёвской области, он из офицерской команды. Ребята прибыли с табачком. Крепкий, напоминающий гродненский времён осени 39-го года. Табак, теперь никогда не выводится у меня. Конечно, вовсе не потому, что у меня много его, а скорее наоборот – мало: дадут на закурку, а я делаю из неё 4-5.

Воскресенье, 18 марта 1945

Вчера и сегодня мы с Анатолием варили пшеничную кашу. А завтра что?

Среда, 21 марта 1945

В 12 часов дня мы услышали гул самолётов и взрывы авиабомб где-то в районе ж/д путей и станции Трайза и Цигенхайн. Потом один самолёт долго кружился за восточной стороной лагеря. Затем появился второй, высмотрел какую-то цель, они сбросили в полукилометре от нас несколько мелких бомб, сопровождающимися пулёмётными очередями. Весь многочисленный лагерь без страха подвергнуться бомбёжке, высыпав на лагерную площадку, смотрел в небо. В стороне от лагеря на высоте 1000-1500 м, пролетели ещё 4 самолёта. Один из 2-х первых, английских штурмовиков низко пролетал над нами. Сделав разворот, он вернулся. Я стоял у проволоки и отчётливо видел, как перегнувшись на сторону, самолёт на высоте до 500 м летел на нас. Вдруг гулко застучал пулёмёт, от самолёта с обоих бортов в нашу сторону взметнулись две дымные полосы. Вначале никто не хотел верить, что это по нам, но когда люди поняли: это быть может вследствие непрекращающейся пулёмётной очереди, все бросились к бараку.

Я прилёг в сених. Послышался ободряющий крик: «Это по вышке!». Но вслед – другие: «У французов выносят раненых!».

В результате обстрела – 12 убитых, 125 тяжело раненых, французов и англичан. В нашей мастерской ранен один сапожник.

Воскресенье, 25 марта 1945

Прекрасные дни. Небо не омрачается ни облачком. Ветра нет. Солнце уже начинает печь.